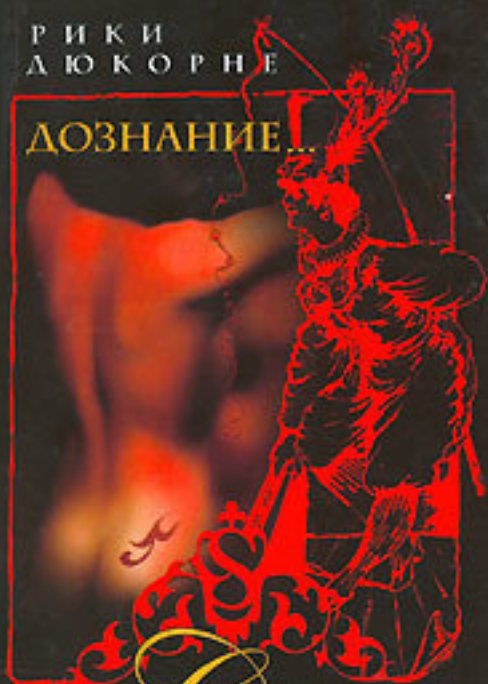


РИКИ  
ДЮКОРНЕ

# ДОЗНАНИЕ

РОМАН О МАРКИЗЕ

*de Cage*



# Рики Дюкорне Дознание... Роман о маркизе де Саде

*OCR Roland*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=158336](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=158336)*

*Дознание: АСТ, АСТ Москва, Транзиткнига; Москва; 2006*

*ISBN 5-17-035144-5, 5-9713-1449-1, 5-9578-3617-6*

## **Аннотация**

«Дознание...» – это история о женщинах, не желавших быть такими, как все, – и дорого заплативших за это...

История об инакомыслии – инакомыслии в сексе, в искусстве, в философии.

История об аресте, дознании и письмах маркиза де Сада.

# Содержание

Часть первая	4
1	4
2	27
3	38
4	55
Конец ознакомительного фрагмента.	57

# Рики Дюкорне Дознание... Роман о маркизе де Саде

## Часть первая Дознание веерщицы

### 1

– Веер – как женские ляжки: либо раскрыт, либо сложен. Хороший веер раскрывается поворотом запястья. Он создает собственную погоду: легкий ветерок, не настолько сильный, чтобы растрепать прическу. В ремесле веерщиц для всего есть свои названия. Как и человеческое тело, веер имеет три основных отдела. Les brins<sup>1</sup>, или «ребра», – обычно из дерева. Les panaches<sup>2</sup>, или, как называют их куртизанки, «ножки», также делаются из дерева или из слоновой кости, или перламутра (еще они бывают нефритовыми: зеленые – цвета глаз, розовые – цвета кожи, белые – цвета зубов). Под-

---

<sup>1</sup> Побег (букв.) (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.

<sup>2</sup> Султаны (букв.) (фр.).

ложку, или лобок, – и это тоже сексуальный термин, – иногда называют la feuille, или «листок» (снова слово с эротической подоплекой; оно в ходу со времен Адама). Подложку делают из бумаги, шелка или лебяжьей кожи...

– Лебяжьей кожи?

– Тонкого пергамента, изготовленного из шкурок нерожденных ягнят, выскобленного, выбеленного известью и выровненного пемзой и мелом. Подложкой могут служить тафта, кружево или даже перья, но последние неудобны в обращении. Пух, которым отделан веер, иногда липнет к губам, если они влажны или подкрашены. Бумажные веера бывают подлинными сокровищами, особенно если они из Японии. Японцы делают самые лучшие бумажные веера. И самые бесстыдные. Притом они много прочнее, чем кажутся. Такой веер бывает полезен, если вы заскучали или вынуждены развлекать занемогшую родственницу, а от ее вставной челюсти из слоновой кости дурно пахнет. Говорят, складной веер изобрели японцы, китайцы же смеялись до упаду, когда впервые такой увидели. А вот лоретки сразу его полюбили.

– Почему?

– Потому что его можно сложить и заткнуть в рукав, когда, задрав юбки и ноги, берешься за дело. Вскоре и господа начали затыкать свои веера в башмак – жест с явной сексуальной подоплекой. Однажды я видела веер из Индии: *panaches* были выточены в виде двух кобр, раздувших капюшоны и изготовившихся поразить обнаженную красавицу, разметав-

шуюся во сне на подложке. Великолепный веер.

– Ранее ты говорила о трех отделах человеческого тела. Назови их.

– Голова, туловище и члены.

Дознание...

– Именно так. Продолжай.

– На веера иногда приклеивают маленькие зеркальца, чтобы владелица могла любоваться собой или ослеплять других. В лобок забивают драгоценные камни на гвоздиках или вставляют слюдяные «оконца». На вершине *rapache* можно установить телескопическую линзу – такой веер бывает полезен в театре. У графини Жимблетт есть веер из цельного листа серебра, вырезанный сердечком, на котором выгравированы строчки:

Тебе, сладкоежке, Утехи все сладки. Мир пробуя в спешке, Хватаешь ты все без оглядки.

Красный веер – символ любви, черный, разумеется, смерти.

– Заказывая тот веер, который потом нашли в запертой спальне в замке Ля-Коста, что в точности сказал Сад?

– В тот день он пришел ко мне в *atelier*<sup>3</sup> истинным франтом и сказал: «Я хочу заказать порнографический *ventilabrum*<sup>4</sup>» и рассмеялся. Я ответила: «Слово «порнографический» мне понятно, сударь, но «*ventilabrum*»...» Позже

---

<sup>3</sup> мастерская (*фр.*).

<sup>4</sup> ручная веялка (букв.) (*лат.*).

флабеллумы<sup>5</sup> из павлиньих перьев стали употреблять в церковных обрядах («для освежения священнодействующего и для отогнания мух, которые могут сесть на хлебы или упасть в чаши»! – воскликнул он, смеясь еще пуще. – Со сценой бичевания». «Я могла бы нарисовать такую сцену на веере, – сказала я, несколько, ко на него рассердившись, хотя, признаюсь, и находила, что он – само обаяние, – на бархате или пергаменте, еще я могу сделать вам vernis Martin<sup>6</sup>). Это вызвало у него новый взрыв смеха. «Сделайте меня! – вскричал он. – Сделайте меня! Меня! Меня! – кричал он. – О, обольстительная, восхитительная веерщица, смастерите мне vernis Martin, и я ваш слуга навеки». «Вы оказываете мне слишком большую честь», – ответила я. Потом записала его заказ и попросила задаток на покупку слоновой кости. (Правила гильдии предписывают мне покупать материалы у другого ремесленника.) Сад заказал подложку из лебяжьей кожи и rapaches из слоновой кости, причем желал самую лучшую.

– Что это значит?

– Кость от одомашненных слонов очень хрупкая, потому что животные едят слишком много соли. Кость диких – плотнее, намного красивее и дороже. Она более всего подходит

---

<sup>5</sup> Флабеллум (букв.) – маленькое опахало (*лат.*). Под этим названием веер перешел от этрусков к римлянам (комедия Теренция «Евнух») в Средние века флабеллуму придавали мистическое значение. («Апостольские конституции»).

<sup>6</sup> Лак Мартен (букв.) (*фр.*) – этим термином обозначали популярный в XVII–XVIII вв. лакированный веер, не имеющий «подложки», а состоящий только из расписанных маслом пластин слоновой кости.

для вставок. Далее, на подложку понадобились тончайшие срезы слоновой кости, которые пошли на овалы для лиц, *les fesses*<sup>7</sup> и грудей...

– Этот заказ был необычным?

– Ко мне обращались и с более странными, гражданин.

– Продолжай.

– Срезы слоновой кости размером не более ногтя великолепно оттеняют пергамент и бархат, то же можно сказать и о перламутре. Иногда мне удается приобрести этот приклад по сходной цене у знакомого пуговичника, у меня с ним есть договоренность.

– Разъясни эту договоренность.

– Я расписываю его пуговицы.

– Продолжай.

– В ремесле пуговичника отходов немного; тем не менее, как ни старайся сберечь кость, всегда что-то остается. На украшения для *rapaches* идут самые разные материалы. Разумеется, не его нижней части, где веера касаются пальцами, от тепла кожи со временем размягчается даже самый лучший клейстер. Но ближе к вершине клей держится крепко, никто еще не жаловался.

– И этим клейстером были закреплены шесть облаток в верхней части... «подложки»?

– Именно им. Правда, я развела его, потому что они были очень хрупкие.

---

<sup>7</sup> ягодицы (*фр.*).

– Весь веер хрупкий.

– Так я и сказала Саду. Он же ответил, что это не важно. Веер нужен ему для забавы. В подарок лоретке.

– Кое-кто назвал бы это святотатством. Подумать только, рисовать на теле Христа сцены распутства, включая содомию!

– Мы больше не под пятой католической церкви, гражданин. Я никогда не была ревностной католичкой. Как и клейстер, крепящий облатки к вееру, сами облатки делаются из муки и воды. Я приготовила их своими руками, и ничто не убедит меня в их святости.

– Мы здесь расследуем твою связь с известным либерте-ном и врагом общества. Лично мне нет дела до кощунства, хотя я полагаю, что в Революции содомитам не место. Но не будем терять время. Опиши перед Comite<sup>8</sup> сцены, нарисованные на веере. (Ей передают веер, приобщенный к делу Comite de Surveillance de la Commune de Paris<sup>9</sup>.) Это тот веер, который ты изготавила для Сада?

– Конечно, это он. (Она быстро осматривает веер.) Фигуры и сцены принято рисовать в картушах на простом фоне или, скажем, на фоне со скромным орнаментом из звезд, сердец или даже глаз – как это сделала я. На данном веере –

---

<sup>8</sup> комитет (*фр.*).

<sup>9</sup> Комитет по надзору Парижской Коммуны. – Здесь имеет место допущение или ошибка автора: во времена Французской буржуазной революции он назывался Комитетом национальной безопасности.

две серии картушей: шесть тщательно отлакированных расписных облаток вверху и три отдельные крупные сцены внизу. Три – классическое число.

– А теперь опиши перед Comite эти сцены.

– Тут есть спаниель.

– Девушка обнажена.

– Все девушки обнажены, и все господа тоже. За исключением соглядатая, спрятавшегося под окном.

– И спаниеля.

– Спаниель одет в жилеточку и в зубах держит плеть.

– Плеть своего хозяина?

– Плеть своего хозяина.

– А... этот хозяин тоже здесь изображен?

– Да! В самой середине. Это портрет самого Сада с мощнейшей эрекцией.

– Так было оговорено при заказе?

– В точности. «Пусть он стоит гордо и прямо! – потребовал Сад. – Потому что, если бы я мог вздрючить Бога в глаз, я бы так и сделал. – И он рассмеялся. – Направьте его прямо в ад!» – сказал он. Я исполнила его просьбу.

– Comite желает знать, в чем заключаются твои услуги маркизу де Саду.

– Я рисую для него и...

– Какова природа этих рисунков? Зачем ему эти рисунки?

– Затем что он в тюрьме! И у него перед глазами – лишь одна гильотина! Днем ему нечем себя занять, кроме казней,

а по ночам – кроме собственных мыслей.

– Взрывоопасных мыслей.

– Да. Таковы были его слова: «взрывоопасные мысли». Он сказал мне, что рисунки нужны ему не только затем, чтобы забавлять его и занимать его ум. Они служат вехами на пути его безумия, ведь он считает, что теряет рассудок, и может лишь наблюдать за собственной гибелью. «Очень скоро, – сказал он мне, – останусь я без головы». И говорил он вовсе не о гильотине. «Не будь у меня ваших картин, – недавно заметил он, – мой череп взорвался бы под распирающим его напором воображения, и всю эту башню забрызгали бы мозги и кровь».

– Ты полагаешь, такое возможно?

– Конечно же, нет. Стены, забрызганные мозгами и кровью, – метафора его душевного состояния. Еще он говорит, что его голова – это печь. Раскаленная печь, сжигающая все, что в нее попадает. Он говорит: «Мои сны наяву – сплошь гарь и дым. От вони моих мыслей невозможно дышать».

– Сейчас, будь добра, прочти вслух это письмо, – первое из многих, – изъятое из твоих комнат вечером одиннадцатого числа.

– (Берет письмо:) О! Я его называю «Чашка шоколаду».

*«Волчонок, моя возжеленная разумница. Сегодня утром наконец доставили вашу посылку – все там было перерыто презренным Досмотрщиком, подлецом, неспособным не давать воли рукам. Но как будто все цело и все на месте: чер-*

нила, свечи, простыни, сахар, шоколад – шоколад! Не тронут! И что за шоколад! Чтобы я мог начинать свой день, как короли майя, с дымящейся чашки.

Как хороший секс, хорошая чашка шоколада начинается с основательной взбучки, и благодаря вам, моя маленькая *anisdeFlavigny*, я, пока пишу это письмо, вдыхаю Юкатан. Фигляры, помешавшиеся на амбре, готовы даже ее положить себе в шоколад, но я привередлив, мне подавайте классический шоколад, без изъяна. Это, пожалуй, единственное, в чем я предпочитаю чистоту пороку!

Всего лишь чашка шоколада, та *douceatіe* – и мое настроение (которое не могло быть хуже) мгновенно улучшилось. Ба! Я настолько весел, что, если бы Бог и вправду существовал, я согласился бы лизать ему зад в рай. Но мы живем в безбожной вселенной (вам это известно не хуже меня), и потому ничто в мире или, правду сказать, ни в одном из других миров, планет и лун, не пахнет лучше доброй чашки горячего шоколада! И нет ничего вкуснее! Прошу, подождите минуту, я сделаю еще глоток... Как я и говорил: нет ничего вкуснее! Куда там освященным какашкам размером с кориандровое зерно, которые, падая с неба в пустыню, питали голодных евреев. Премилая история... А вот еще одна (хотя, предупреждаю, она будет не столь приятной).

Вчера, когда на город с запада напозлали тучи, но перед тем, как пролился дождь, я видел, как юноша, лакомый превьюше самых смелых мечтаний, преклонил колени перед ги-

льотиной. Теперь я знаю, что плоды моего воображения – просто зеркало мира. Весь день, невзирая на потоки дождя и кровавую воду, которую бросал в толпу ветер, снова и снова у меня под окном разыгрывались сцены ада. Временами происходящее казалось лицедейством, дьявольским театром, таким же тягучим и монотонным, как и те кроваво-жадные увеселения, которые я, отравленный скукой, десятки и сотни раз громоздил на бумаге. Правду сказать, весь день я спрашивал себя, не могут ли мысли быть заразны, не подожгла ли мир моя собственная ярость. Я думал: «Дав свободу мечте, ты обрушил на город чуму».

Эта мысль крепко засела у меня в голове: отбросить ее я не мог, но теребил, как собака труп кошки. Образцовая вторичность: стоило мне придумать машину для отрубания голов, и мир уже не тот, что был прежде. А меня... меня, писавшего про ебущие машины, бичующие машины... Меня обошли! Обрушенная мною чума не просто заразна, эта зараза распространяется повсеместно: смотрите, как она набирает силу, как преумножается коварством!

И вот она, машина смерти, la! La!. Прямо у меня под окном. Это я ее породил? Сдается, что так. Даже тучи, мо-чащиеся дождем, сам воздух, полный предсмертных воплей, рыданий и смеха гадин, как будто извергаются из меня. Я воображаю, как из каждого отверстия моего тела сочится преступление. Как поборнику эмпиризма (и эта склонность иногда доводит меня до припадка: если бы я вдруг решил,

что от этого будет прок, то принялся бы считать усы на морде у крысы и взвешивать пылинки в воздухе...) мне, разумеется, приходило на ум поискать способ проследить за движением этого оплодотворяющего яда и направить его в нужное русло. Ибо — да! — мне отвратительны комья запекшейся крови, что, как осенняя падалища, скапливаются под моим окном. Одно дело — мечтать о бойнях, другое — их созерцать.

Неужто это насилие — побочное дитя ярости одного-единственного человека? Если так, все потеряно, ведь я напридумывал слишком многое. Хуже: я перенес это на бумагу!

Тут мне вспоминается история одной известной стервы, мадам Пулзльон, которая попыталась погубить своего ненавистного супруга, вымочив все его сорочки в растворе мышьяка. Мышьяка у нее было предостаточно, так как ее дом заповилили крысы. (Но какой брак не отравлен полночным писком и возней паразитов?) Почтенная традиция — эти отравленные одежды. Есть и другая история про языческую царицу Индии, та еще была штучка: принуждаемая к браку с полководцем, который силой взял ее царство, она поднесла ему тунику, столь смертоносную, что у него мясо сползло с костей.

И мой ум таков: его яд невидим, но смертелен. Я удален от мира, заточен в подлые темницы, меня кормят помоями, и свои драгоценные дни и годы я провожусь, корябая пером,

размером не больше лягушачьего членика, и все же моя злоба обволакивает город как туман. Что произошло бы, нередко спрашиваю я себя, задумайся я всерьез? Стал бы мир хуже?

Ах! Еще глоток шоколада, и все развеивается. Мне вспоминается веер, который вы однажды смастерили для актрисы, известной как Ля Субис: веер из павлиньих перьев, веер из глаз! Когда она им обмахивалась, то казалось, будто ей на руку опустился экзотический мотылек, прилетевший из Америки. Вы назвали веер Андреал-фусом в честь демона, якобы превращавшего людей в птиц. И когда Ля Субис взглянула на меня, и переложив веер в правую руку, прикрыла им лицо, а после вышла из комнаты, я – благодаря вашим наставлениям в языке вееров – понял, словно она произнесла это вслух: «Следуйте за мной». Кукарекая, как петух, я мигом бросился следом и провел счастливый час на ее гумне. (Вот храбрая душа, не убожавшаяся моей репутацией!)

Помните, как я заказал вам флабеллум? Как после мы вместе посмеялись этой шутке? Веер, воплощающий целомудрие. Веер, защищающий гостию от Сатаны в образе роя мух? Хотелось бы знать, что уготовано верующему, проглотившему засиженную мухами облатку?»

– Ты имела половые сношения с Садам?

– Никогда.

– Ты нарисовала сцены противоестественных актов, караемых смертью.

– Да, нарисовала. А еще я нарисовала разлагающийся

групп. Но это не значит, что я убийца! Чтобы точно передать детали, я посещала медицинскую школу и покойницкую.

– Омерзительное занятие для женщины. Неужели ничто не вызывает у тебя отвращения?

– Любопытство побеждает во мне отвращение, гражданин. Так было всегда. Это, думаю, объясняет интерес ко мне Сада. Или нашу многолетнюю дружбу.

– Чем ты привлекла внимание маркиза де Сада?

– Графиня Каффагьола рассказала ему о моей atelier. Я нарисовала по ее заказу эротические картинки на прелестном секретере итальянской работы. Такими сценками я расписала ящички и дверцы, а также стенки и верхнюю крышку. Всего шестьдесят девять сцен, некоторые совсем крошечные. Графиня дорожила этим секретером и поставила его в потайной будуар. Как его мог увидеть гражданин Сад, догадайтесь сами.

– Опиши этот будуар.

– Его больше не существует, гражданин; его разграбили и сожгли. Но я хорошо его помню, так как рисовала там под руководством графини. Стены были обтянуты желтым шелком со светло-зеленой отделкой. Три больших окна выходили в сад, стены украшали гравюры на меди, Марк-Антонио Раймонди по рисункам Джулио Романа. Серия была уникальной.

– Эти имена мне незнакомы.

– Оба некогда были известны и подверглись гонениям католической церкви за те самые гравюры, что висели в жел-

том будуаре.

Из окон будуара виднелся фонтан. Точная копия того, который Джулио Романо спроектировал для Фредериго ди Гонзага. Пока мы тут говорим и под окном у Сада рубят головы, тот фонтан все журчит в садах Гонзага. Моя первая беседа с Садом состоялась как раз у этого фонтана вскоре после того, как я отправила ему заказанный веер. В то время я была наперсницей графини, поэтому стоит ли удивляться, что мы встретились снова – у большого *ucello*, высеченного в основании фонтана.

– *Ucello*? Что такое *ucello*?

– Крылатый фаллос, гражданин. Увидев его, Сад воскликнул: «Елдабог! Вот этот фонтан по мне!»

– Опиши свою беседу с маркизом де Садом.

– Гражданин Сад назвал нашу хозяйку «лиловой брюнеткой» за очень белую, с фиалковым оттенком кожу. Чтобы отличать от другой дамы, Ля Субис, которую он звал «*une doree*», золотой брюнеткой, и меня самой, которую он за оливковый цвет лица называл «*une verte*»<sup>13</sup>. Потом он поделился со мной своими своеобразными теориями. Например, он много говорил об одном своем изобретении, о «метафизическом глазе». Глаз он уподоблял воронке, ведущей прямо в душу, огненному вихрю, который – и в этом парадокс – одновременно выступает как водоворот, где можно легко утонуть.

---

<sup>13</sup> зеленая (букв.) (*фр.*).

Он утверждал, что слезы – это особая субстанция, образуемая попаданием в глаз света и разогревающим действием страстей. Он рассказывал, как майя на Юкатане причиняли боль маленьким детям, чтобы заставить их плакать и тем самым вызвать дождь. Его занимала фантазия, будто боль способна «предвосхитить» погоду, поскольку это предполагает, что по своему назначению глаз одновременно всевидящ, проникновенен, активен, но также и таинствен.

Позже Сад описал вымышленную машину, которая измеряла бы дистилляцию света внутри глаза и последующее выделение слез. Сходное устройство могло бы измерять соленость жидкостей тела: слез, слюны, спермы, крови, мочи, пота и так далее. По его словам, человеческое тело – машина, смазываемая этими жидкостями, а топливом ей служит соль. Он рассуждал о том, как произнесенное слово, производя пар в воздухе, способно влиять на состояние и самочувствие: на смену настроения, сны и фантазии, зрение, осязание, вкус, сексуальное влечение – и также погоду.

– Погоду?

– У него была занятная теория, будто слова способны вызывать ветер. Так же, как майя полагали, что слезы...

– Ты несколько раз упоминала Новый Свет. Каково было твое участие в написании бесчинной рукописи, недавно представленной Comite?

– Это произведение мне хорошо знакомо, и без меня бы оно не возникло.

– Объясни.

– В начале нашей дружбы Сад сказал, что у меня мужской ум; то есть я бесстрашна, не боюсь идей, которые, пока их не осуществить, остаются всего лишь абстракциями. Я же ответила, что ум у меня женский, но достаточно продвинутый и вполне удовлетворенный. Поймите: под руководством просвещенного родителя я стала женщиной образованной и поднялась над ограниченностью моего звания и ремесла. Мой отец был ученым, который, потеряв то небольшое, что имел, был вынужден торговать тряпьем и – так повернулась удача – старыми книгами, которые зачастую все-таки самые лучшие. Поэтому, хотя мы ели пустую похлебку, в нашем доме всегда были книги, не стоившие нам ничего, кроме масла для лампы – вечера мы проводили за чтением. Отцовские книги были зелеными от плесени, провоняли кошачьей мочой, пропахли дымом, были испачканы вином, чернилами или залепаны испражнениями насекомых. Во многих имелись гравюры и даже карты вымышленных или исчезнувших стран. С самых юных лет меня подстегивало неумное и ненасытное любопытство. Это мое любопытство никогда не встречало препон и всегда поощрялось. Таким было мое образование.

– Продолжай.

– Любя книги, мой отец не менее любил театр. Мы были слишком бедны, чтобы часто бывать в «Комеди Франсез», но ходили куда могли. На фарсы, разыгрываемые в сараях

актерами, еще более оборванными, чем мы! Или на пьесы, которые давали в парусиновых шатрах, кишевших блохами; тогда мы готовились к представлению, натирая ступни и ноги скипидаром. Многие пьесы казались мне чудесными, возможно, они такими и были.

Однажды после особенно таинственного представления «Красавицы и чудовища» в конюшне, где рык Чудовища жутковатым эхом отдавался на сеновале над подмостками, мы возвращались домой по едва различимым в свете звезд улицам, я спросила отца, что главное: книги или пьесы? Он считал, что пьесы. А я спросила: если то, что возникает на великих подмостках «Комеди Франсез» столь реально, как он говорит, будет ли пьеса жить в умах зрителей и после окончания представления? А он сказал, да: в точности как прочитанная книга, которая продолжает жить в наших мыслях, переменчивая, как погода наших настроений. «А как же актеры? – все спрашивала я. – Что случается с их памятью? Преображают ли их творимые ими чудеса? Принимает ли расписной задник краски реальности? Становятся ли актеры теми, кого изображают?» Отец ответил: «Как ты, дорогое мое дитя, становишься всеми людьми и существами, о которых читаешь в сказках, но всегда остаешься собой, так же актеры».

– Как ты познакомилась с графиней Каффагьоло?

– Еще ребенком я была одаренной рисовальщицей, поэтому в возрасте четырнадцати лет меня взял в ученицы Дес-

гриё с рю де Гренель. В его мастерской я освоила ремесло веерщицы, и мне доверили расписывать бумажные и пергаментные веера, наносить на подложки рисунки красками и тушью в китайской манере. Однажды в atelier пришла графиня Каффагьоло и буквально влюбилась в один расписанный мною веер. На подложке была изображена обнаженная прелестница, возлежащая на диване в саду, полном причудливо изогнувшихся деревьев и цветущих кустарников, змей, слонов и улиток... Ах! Мне уже и не вспомнить всего, что я уместила на лобок того веера! Вскоре после этого графиня вернулась, чтобы отвезти меня к себе, в желтый будуар, где я выполнила рисунки, которые уже описала выше. Очарованная моими картинками, она настояла, чтобы я пользовалась ее превосходной библиотекой. Я жадно читала каждую ночь, как, должна сказать, делала всегда, и стала страстным библиофилом. Поэтому удивительно ли, что после стольких лет чтения скромная веерщица помогает известному писателю в работе над книгой?!

– Прежде чем мы перейдем к этой книге, ответь, изменилось ли поведение Сада во время его последнего заключения?

– Он поглощен самыми странными заботами. Например, на протяжении нескольких месяцев он не говорил ни о чем ином, кроме перечня принадлежностей своей идеальной кухни. Он описывал пылающие день и ночь печи, настолько большие, что способны вместить целого быка: «Я приказал

бы поварам зажарить быка, начиненного поросенком, начиненным индюшкой, начиненной уткой, начиненной голубем, начиненным мясом птицы овсянки». Помимо массивных печей этой кухне полагалось иметь огромные очаги, снабженные вертелами: «Над горами раскаленных углей вращаются день и ночь шестнадцать вертелов, к ним приставлены восемь молодых поваров (по одному на два вертела), обнаженных из-за адской жары на кухне. На каждый вертел будет насажено по три гуся, три сардельки, три говяжьи грудинки, три свиные грудинки. В пекарне: мальчики день и ночь месят тесто, всечасно лепят булочки, взбивают масло, когда не заняты другим...

– Сад в тюрьме недоедает?

– Голодает, гражданин! Он описывал, как девочки, не старше девяти лет, лущат бобы и горох в миски, которые держат, зажав между коленей. Фаянсовые миски – белые, и девочки одеты во все белое и в белых же чепцах. И чистильщики, чтобы драить сковороды и соусники – большие, средние и малые. Непременно медные. И драить непременно песком. Этим чистильщикам полагается надевать передники, гражданин, и ничего больше. «Высеченные до неистовства, – сказал Сад, – они станут драить как черти».

– И всем этим он намеревался тебя позабавить?

– Намерения моего друга всегда были для меня загадкой. Правду сказать, он ходит по грани между фарсом и ужасом.

– Тебе есть что добавить?

– Поварихи, дородные голландки, вооруженные поварешками – внушительными деревянными поварешками длиной с метлу и пригодными для взбучки. Буфеты, ломящиеся от столовых приборов, серебряных вилок и ножей, оловянных кружек для пива и хрустальных бокалов для вина всех видов, погреб, заставленный бочками и бутылками; кухонные балки, скрипящие под тяжестью окороков. Наивные и безбородые, юные козопасы в кожаных штанах до колен десятками входят на кухню, и у каждого на плечах по козленку. Ватаги поваров потрошат животных, еще мычащих и блеющих: барашков, кабанчиков, дичь. И по всем углам луковицы выпадают за края корзин, подливки булькают в котелках. Обеденный стол сверкает дворцами из сахарных голов, потрескивающих и оплывающих под светом сияющих люстр. И повсюду – свежесрезанные цветы. Задыхаясь от изнеможения, слуги снуют взад-вперед, сгибаются под тяжестью золотых подносов с пирамидами сладостей: редкие восточные сласти на меду, начиненные фисташками, и марципаны, вылепленные в виде часов и пагод. Каждые шесть часов прибывает группа свежих чистильщиков, чтобы отскрести пол кухни от жира, золы и крови. Коленопреклоненные и взмыленные, они полчаса совершают этот обряд очищения, пока повара и поварята, мясники и пекари, козопасы и послушники моются в особо принесенных чанах – на глазах у пирующих, чье застолье вечно. Сияющие чистотой, они с новым рвением возвращаются к своим трудам: разделявают коров, насажива-

ют на вертела птицу, потрошат рыбу, глазируют луковицы, нанизывают клюкву, уваривают соки, помешивают булькающие потрошки, фаршируют гусей, режут пироги, приправляют трюфелями гусиную печень, обжаривают мозги, взбивают суфле, извлекают из раковин устриц, растирают каштаны, шпигуют «сладкое мясо», крошат шкварки, мелют кофе, возводят пирамиды круглых сыров, начиняют кремом профитроли, парят артишоки, шинкуют спаржу, панируют котлеты, смешивают анчоусовое масло и миндальный крем, чистят крабов, запекают в пирогах дроздов и кукушек, заправляют огурцы сметаной, посыпают сахаром ананасы, выкладывают на противни тесто, шпигуют седло зайца... Также он попросил начертить ему ряд гастрономических карт.

<Допрашивающий в недоумении.>

– На карте Корсики показаны местности, известные оливками, каштанами, лимонами, омарами; местности поленты, угрей, лучшей жареной куропатки, сыра и козленка-соте. На карте Гаскони помечены места, где можно съесть утиную печень, тушенную с виноградом, или замечательный суп из гусиных потрошков.

– Это все?

– Только начало! Он изобрел «Кошунственную кулинарию», лучшую, по его словам, среди всех прочих, пока не будет доказано обратное; эта кулинария одновременно и рецепты, и добровольное чудачество, порожденное оправданной яростью.

– Объясни.

– Сад выдумал подземную кухню, мрачную и освещенную лампадами с жиром, пространство столь же черное, как задний проход Дьявола, демоническое святилище хаоса, которое лижут огненные языки из вечных печей, изрыгающих пламя и дым, кухню подобную бреду, кощунственную лабораторию, оживляемую нервическим раздражением и неутолимимым аппетитом. Иными словами, такую, чтобы готовить в ней блюда праведного гнева.

Вот, например, рецепт его изобретения. Одного Папу масировать силами тридцати дюжих хористов и ежедневно растирать солью, кормить гренками с маслом и молочным супом, приправленным тимьяном и медом, по истечении полугода жарить обычным способом, начинив *hachis de cardinal*<sup>14</sup>, и подавать с приправленной трюфелями печенью иезуита и *souffle d'abbesse*<sup>15</sup>. Все щедро поперчить, на гарнир – каперсы.

– (Кричит, перекрывая одобрителный гам в зале:) Полный абсурд!

– Вспомните: Сад часто сидел в одиночках, его кормили помоями и черствым хлебом. Дико голодный и разъяренный, он – жертва собственного бездонного озлобления. Не забывайте, гражданин, он сочиняет, и только. Такую трапезу никогда не готовили, не подавали, не ели. Но, гражданин, уже

---

<sup>14</sup> фарш из кардинала (*фр.*).

<sup>15</sup> суфле из аббатисы (*фр.*).

почти полночь. Неужели Comite никогда не спит?

*Мой друг*

*В моем «орлином гнезде» я обдумываю факты, те пять дней в сентябре, когда Парижем правил Сатана в облике гражданина. И если тела жертв гниют на подстилках из соломы с известью, если площади и дворы отмыты от крови, а из садов выпололи глаза и зубы, если мир (всегда готовый забыть) уже забывает, я, Донатьен де Сад, помню.*

*Я помню, как укусуник по фамилии Дамьен перерезал горло генералу, а потом вырвал у него сердце, как он поднес его к губам... О! Жест истинного майя! Я помню, как цветочнице вырвали кишки, а в ране разожгли огонь, на котором поджарили ее заживо; как ребенку приказали откусывать губы трупам; как мадемуазель де Сомбрель подали стакан человеческой крови; как камердинеру короля сожгли факелами лицо; как некоего мсье де Моссабра закоптили в дымоходе его собственного дома, как детей, заточенных в Бисетрэ, изнасиловали столь жестоко, что нельзя было опознать тела; как снятую с трупов жертв одежду тщательно стирали, штопали, гладили и выставляли на продажу! Революция, та *tié*<sup>16</sup> сама за себя платит. И еще я помню, — *helas!* — мне никогда не забыть, как моего кузена Станисла-са, безобидного мальчика, выбросили из окна вечером деся-*

---

<sup>16</sup> МОЯ МИЛАЯ (фр.).

того августа; как его разбившееся о мостовую тело разорвала толпа. Всю ночь звонили колокола, — я и сейчас слышу их звон. Колокола расправы. Колокола гнева. «Чего же вы ожидали? — сказал графу де Сегюр Дантон (сплошь брылы и черная желчь). — Мы — собаки, рожденные в сточной канаве».

Хотя кровь продолжает литься, и деревья Парижа повседневно политы слезами, уже сейчас находятся такие, кто говорит: всего этого не было, суды и казни — упорядоченные, безмолвные и справедливые, а подобные истории (про голову мадам де Ламбаль на острие пика, про мсье де Монтморина, которого, посадив на кол, выставили в Законодательном Собрании) — ложь, небылицы, столь любимые «воображением народа». Что ж, тогда я спрошу: если они правы, то почему я еще сижу взаперти, ведь воображение у меня не менее «народное»?

Бывают дни, когда ужасы множатся, и я почитаю себя счастливым, что укрыт в этой башне, невидимое, но всевидящее око, помню все, но сам как будто позабыт. Когда я наконец покину мое «орлиное гнездо», быть может, снова наступит весна, и дворы смерти будут отмыты апрельскими ливнями. Иногда моя тюрьма кажется мне почти домом! Разумеется, мне незачем подходить к окну, если я того не хочу; мне незачем прислушиваться к падению лезвия, ведь я могу заткнуть уши и громко петь; как оса в своем гнезде высоко над миром, я могу допьяна напиться меду. Кстати,

*я съел все pastilles. Я лишусь зубов, ну так что ж – невелика важность! Скажу с Дантоном: «Мне начхать». Разве осталось, во что их вонзать? Без своих королей Франция станет такой же безвкусной, как Америка. И ею тоже станут править лавочники. Лавочники! В тюрьме я повидал их немало. Подлог – вот их понятие о красоте, подделка – вот их добродетель; их сердца – в дефиците; их интересы просты; их приборы обмусолены и обвисли как старые банкноты. Добро пожаловать в Новый век! Мы полетим в него кувырком, как крысы в отхожую яму. И в сравнении с ужасами, которые станут творить во имя Экономического Процветания, все развратные замки из моих книг покажутся просто досужими домыслами монаха в келье, а преступления Ланда на Юкатане – каплей масла в лесном пожаре.*

*Кстати об огне: сегодня я развлекал себя мыслями о веере, который возгорается от слезы. Такой веер возможен? Сад.*

– И что ты ответила?

– Что такой веер, несомненно, возможен, как *tunica molesta*, отравленная сорочка, которую я уже описывала.

Мне не составило труда придумать, как обработать веер горючими веществами.

– Как-то?

– Сера. Деготь. Нафта и негашеная известь. Капля дождя или – да! – слеза могли бы превратить такой веер в факел. Если на владелице веера платье, выбеленное известью, разу-

меется, она тут же превратится в огненный столп!

– И ты изготовила такой веер?

– Да!

– Вот доказательство твоего соучастия в его кровавых преступлениях!

– <Звонящий смех веерщицы озаряет зал.> Однажды я смастерила Саду веер из рога, вырезанного наподобие крепости с башенками, – забава, чтобы скрасить его заточение. Веер был ajouge<sup>20</sup>, как и оборона замка. В другой раз я изготовила ему веер из «дамских пальчиков» в белой глазури; rapaches у него были из твердой карамели. Понимаете, возгорающийся веер был экспериментом. Для книги. Для книги о Ланде на Юкатане. Я сделала его на пробу, чтобы посмотреть, возможно ли это. Потом я сообщила Саду о результате: от капли воды веер затлел, быстро загорелся, на мгновение вспыхнул и исчез. Мне подумалось, что этот возгорающийся веер сродни человеку, сродни самой любви. Они тоже вспыхивают лишь на миг.

– <В недоумении и словно самому себе:> И откуда у тебя берутся такие идеи?

– Такова природа мышления – разве не так? – «брать» идеи, хотя Сад любит говорить: «Меня прошибла ужасная мысль», как большинство говорит: «Меня прошиб пот». А вот мой отец предпочитал «ловить мысли», словно мозг – это глубокий пруд, а мышление схоже с ловлей рыбы. Впрочем,

---

<sup>20</sup> Здесь: ажурный, со множеством отверстий (фр.).

он сам был в некотором роде рыбаком: вылавливал старые книги и документы так же, как моя мать закидывала удочки на предмет обносков, или точнее красивых вещей, которые умела всего одним жестом или словом представить владельцу обносками.

– <Самому себе: «Мать была иллюзионисткой». Записывает.>

– От нее я унаследовала способность идти напролом, когда это необходимо, а от отца – способность думать. Когда я была маленькой, он побуждал меня изучать природу, видимую глазом и скрытую от него; он побуждал меня изучать языки древние и новые, чтобы я смогла понять, что у человеческой мысли множество разных путей. Я читала философские труды; я знаю науку чисел; я способна назвать не только птиц и звезды, но и кошек...

– Кошек!

– Да! Кошек! Например, Том, Тигр, Пеструшка, Мышелов...

*Лизетта!* <Это доносится из зала.> *Гризетта.*

<Со всех сторон выкрикивают прозвища кошек:>

*Эку!*

*Ворюга!*

*Мину!*

*Шозетта!*

*Моя красавица!*

*Олоферна!*

*Полосатый!*

– Тихо! Можно подумать, тут кругом колдуны и ведьмы! <Председатель Comite хлопает в ладоши, пока не водворяется порядок.> У матери ты ничему не научилась?

– В недолгие годы, пока она жила с нами... <Ее глаза темнеют, и на мгновение веерщица, хотя и стоит перед залом, вдруг кажется меньше ростом.> Она... научила меня любить красоту во всем и узнавать вольный дух повсюду. От нее я унаследовала терпение... к трудностям и, главное, научилась, жить настоящим и не убиваться из-за потерь.

– Твоему другу Саду тоже было бы неплохо овладеть этой наукой!

– Но как это сделать в неволе?! Когда тебя держат в башне, точно в жестяной банке! Верно: мышлению Сада часто вредят бурные перепады настроения, но это же неизбежно.

«Чтобы утишить лязг в моем черепе, – сказал он не так давно, – унять мои разошедшиеся нервы, успокоить мой проклятый геморрой, я становлюсь безмозглой счетной машиной: я считаю проходящие секунды, минуты и часы. К ним я прибавляю те числа, какие дает мне тело: на руках – десять пальцев и на ногах – десять, все как восковые свечи; язык – черный, как гнилая картофелина; нос – точно мятая слива; два уха – будто сломанные зонтики; один мозг, истощенный до пожизненной глупости; настроение как у Иова; нарост на большом пальце ноги; пара скрипящих коленей; живот, раздутый точно мешок мокрой соломы; хуй, докучный, как по-

пугай в клетке; мошонка, дряблая, как вчерашняя каша; зубы, ненадежные, как игральные кости, и своевольный анус. На эту сумму я делю дни, проведенные мной в заключении, а потом, вычтя число отрубленных с рассвета голов, полученных писем, увиденных снов, крупинок соли, упавших мне на тарелку с черствой краюхи, теней, стекающих мне на кровать со стены, с точностью до минуты получаю время моего освобождения. Или вашего следующего визита, о возлюбленная Комета во Мрачных Небесах моего Одиночества! А также мгновение падения Робеспьера. На эти сведения я полагаюсь, утешая себя, что однажды почувствую под ногами булыжники мостовой, удары дождевых капель на моем радостном, запрокинутом лице, ласку женщины, познаю вкус ее губ, поцелую затылок любимой, и кошачий язычок, лизнув, оцарапает мне ладонь. Я проснусь под пение петуха и засну под воркование диких голубей на ветвях.

У меня кружится голова. Меня шатает от тоски по утраченному миру. Взаперти я уразумел, что окружающий мир это пища: он нас питает. Без него голодно душе. Я чувствую себя Гулливером в заточении у великанов: во все стороны распростерлось изобилие, но мне оно недоступно. Вы говорите, меня называют «апостолом Пустоты». Но если я апостол, то «апостол Множества», «Святейший папа Изобилия и Избытка во всем». И меня лишили всех прав, кроме одного – права видеть сны, – их я вижу в избытке. Если кому-то это не нравится, пусть отрубят мне голову!

Мое перо – ключ к фантастическому борделю, и как только его двери распахиваются, он извергает семя кровавых чернил. Девственная бумага вопиет, воплощая миры, доселе неведомые: вулканические, нерушимые, удушающие».

– И жестокие.

– Да, гражданин. Но не более жестокие, как наш пылающий мир. Ну же, наберись смелости оглянуться вокруг. <Верещица совершенно оправилась. Теперь она стоит подбоченясь.>

– Ты меня понукаешь? <Горько смеется.> А не то...

– А не то погибнешь, пожалуй.

– Помяни мои слова, гражданка: погибнуть придется тебе. Но к делу. Продолжай, и попрошу без иронии. Что еще сказал Сад?

– Он сказал: <не утратив присутствия духа, повышает голос> «И мне начхать, если от моих изобретений, не в пример гильотине, нет "пользы"». Видите ли, Сада интересуют новые мысли. Мысли, которые пока еще никто не перенес на бумагу. Радикальные мысли. «Я не просто смахиваю пыль! – говорит он. – Под плетью моего пера все содрогается, словно шлюха дрожит в логове изголодавшегося льва. Мир переполнен гипсовыми копиями, и надо разбить их вдребезги, вызвать такую бурю, чтобы нельзя было ни предвосхитить ее, ни ей противиться. Я ищу Vertigo<sup>21</sup>, – сказал Сад. – Мне нужен мир, где Запретный Плод в асценде, а Стародавние

---

<sup>21</sup> головокружение (лат.).

законы – да! и сам закон земного притяжения тоже – низвергнуты».

Сад воспитывался у иезуитов, которые, как вы, разумеется, знаете, наказывают – и зачастую жестоко – своих подопечных за проступки, большие и малые, истинные и мнимые. Один особо рьяный наставник, которого ученики прозвали Метла, приказывал мальчикам становиться в круг и лупить друг друга чем под руку подвернется, образуя тем самым адский замкнутый круг – Сад называл его «Инфернальной машиной Метлы». «Мне казалось, – говорил Сад, – будто мы – Метла, остальные мальчишки и я – превращались в винтики дьявольского механизма, заставляющего вращаться мир. Вечер за вечером мы отправлялись в постель с рубцами на мягких местах. Ночь за ночью я метался на кровати в лихорадке, вызванной унижением и яростью: смертоносной яростью. Когда прошел слух, что одному иезуиту перерезал горло мальчик, не снесший побоев, меж собой мы ни о чем другом не говорили.

Мне казалось, что устройство вселенной – планеты на своих орбитах вокруг солнца, луны на орбитах вокруг планет – основано на пытке, которой нас подвергают. Я был уверен, что эта машина вечна, и пытке не будет конца, ведь ее прекращение означало бы конец света. А потом захотел, отчаянно, захотел, чтобы мир погиб в огне!» Уже тогда Сад, как и Ланда, жаждал геноцида.

«Ночью я читал принесенные вами судебные записки по

делу Ланда, – продолжал Сад, – и снова задумался о произволе, какой он учинил на Юкатане, а после у меня было ужасное видение. Мне приснилось, будто я вновь стою в геенновом круге Метлы. И от метаний плачущих и по-звериному воющих, взмыленных мальчиков исходил такой жар, такой всеильный жар, что сутана Метлы внезапно вспыхнула, занялись пол и стены, а потом и мы все загорелись тоже! Мы образовали огненный шар, который вознесся в небо. Желтый и красный шар, цвета гноя и крови.

Под нами собралась толпа, сотни зевак изумленно уставились вверх. «Второе солнце! – восклицали они. – Что с нами будет?!» Призвали астронома, который прилетел на метле. Я стоял в толпе и видел, как с его островерхой шапки срываются звезды. Ткнув своим жезлом в два солнца, он пронзительно закричал: «Давайте поразмыслим над неизбежным бедствием!»

«Думаю, – сказал мне Сад, – благодаря этому сну я увидел лик Истины. Отталкивающий и чудовищный лик, изъеденный злобой. Истина – это прокаженная, изгнанная из людских сердец и догнивающая в изгнании. Остались только разложение и дурной запах, да несколько комьев того, что когда-то было добрым и светлым, а теперь не имеет названия. Остался лишь смрад со дна склепа».

Он сказал: «Я видел, как мшавину красавицы носили, будто меховой воротник, как тела щеголей, не повинных в преступлении ином, кроме ветрености, резали на куски, а после

таскали по улицам Парижа точно кровавые флаги. Я видел, как по ночам свозили в тачках трупы к могилам, отмеченным лишь вонью. И снова и снова задавался вопросом: это ли праведное неистовство, о котором мы мечтали? Но чего еще ждать от сброда, который по сей день верит в колдунов, чернокнижников и прокаженных королей, омывающихся кровью младенцев, и перешептывается, мол, знать обжирается зажаренными крестьянскими мальчиками. Полная чушь, если вдуматься: на изголодавшихся крестьянах не найдется и куска мяса, разве что между ушей».

Только позавчера Сад сказал мне: «Теперь все ясно. С самого начала предполагалось сперва меня изгнать, а затем съесть. Революция, как сука, пожирает собственный помет, и лишь вопрос времени, когда и я окажусь на коленях, а моя голова – меж ее челюстей. А пока я вижу те же сны, что и Ланда, этот ублюдочный сын инквизиции. Я разделяю лихорадку этого изверга. Я обречен на ту же своеобычность.

Грядущие разрушения непредсказуемы. Я днем и ночью их жажду. Как Ланда, – завершил он, – я жажду исчезновения сущего».

– Ты по-прежнему работаешь на рю де Гренель?

– Через несколько лет по завершении ученичества я нашла пустую мастерскую на рю дю Бут-дю-Мон и открыла собственное дело. Прежде в этих комнатах пекли марципаны, и от стен еще пахло сахаром и миндалем. И что еще лучше: над входной дверью был высечен лебедь. Первым делом я изготовила жестяную вывеску в виде лебедя. Нарисовав на ней красного лебедя, я вывесила ее на улицу. Я наняла девушку мастерить каркасы (так как к тому времени предписания гильдии изменились) и еще одну, нищенку-сироту, отец которой умер от бери-бери, а мать – от горя; и когда ее отмыли, она оказалась красавицей. Она все схватывала на лету и стала всеобщей любимицей, так как знала, когда и кому показать веер с секретом, веер с двойным смыслом или даже с тройным. Она всегда улыбалась, вот почему Сад прозвал ее Лафентина, и она по сей день посмеивается над этим прозвищем, как, впрочем, и надо всем остальным.

«Это честная жизнь, – говорила о ремесле веерщицы Лафентина. – Весь день можно безнаказанно кокетничать, чаю пить, сколько пожелаешь, и никогда, никогда тебе не надо стоять на ветру или под дождем. В atelier приходят всякие люди, но цирюльников тут не бывает, и нищих тоже. Потому я могу забыть, что когда-то из-за злой судьбы жила, как со-

бака в канаве».

Лафентина умела читать взгляды богатого либертена, который подыскивает занятную диковину, и потаенные мысли незамужней девицы, которой нужен веер, чтобы воспламенить приглянувшегося юнца. Моя atelier называется «Красный лебедь на краю света», а мой девиз выведен над входом киноварью:

Царят здесь смех и красота  
До сумерек и до утра.

Мой конек – чудачества, волшебство искусства (как, например, анаморфная эротика) и воображаемые пейзажи: китайские пирамиды и храмы в джунглях, карта подводного мира, висячие сады, полные птиц, и гроты, освещенные вулканическим огнем. Ни в одной другой atelier Парижа вам не купить веер с геральдическим ягуаром из Нового Света, который является посвященным в опиумных снах. У меня же этот зверь растянулся в прыжке на зеленом шелке подложки.

Лафентина оказалась одаренной веерщицей. С ней мы изготовили серию двусторонних вееров: на обороте изображены времена года, а на передней стороне – забавы любви. Наши «Diableries»<sup>22</sup> пользуются большим спросом. Не менее их любима и другая серия – «Парижские трапезы» с рецептом на одной стороне и застольем любовников на другой.

---

<sup>22</sup> черная магия (*фр.*).

Идеи мы черпаем из «Энциклопедии»<sup>23</sup>, а также из наших воспоминаний и душевных влечений, что расцвечивали наше детство и тайны нашего отрочества. Надо думать, именно поэтому наши веера так любимы, и поэтому же мы так часто привлекаем к себе внимание генерал-лейтенанта полиции. Понимаете, наши веера коллекционируют студенты, а они – народ буйный. Они заводят оживленные разговоры у нас под дверью, а лейтенант возомнил, будто они подстрекают к мятежу, и все потому, что сам он тупица и не понимает в их рассуждениях ни слова. Лафентина любит шутить, мол, климат у нас за дверьми совсем не тот, что в остальном Париже: «распаленный, чувственный, тропический».

Еще в мастерскую зачастили разные безумцы, кое-кто среди них – подлинные визионеры, остальные – просто не в своем уме. Например, одного врача виденья преследовали с самого детства. Он утверждает, будто видел Отца Небесного, Пресвятую Деву, Сатану, Христа на кресте и ангельское воинство. Несколько лет назад он пришел к нам купить веер, достаточно большой, чтобы укрыться за ним от глаз демонов, защитить себя от всепожирающей бездны их взглядов, от их серных ветроиспусканий, оградить себя от неуловимых, пленительных гурий – при виде их он страшится, что его ствол с мошонкой сбегут, а его самого оставят дома.

Мою любимую торговку, дочку мясника, звали Чезарина. Она появлялась с корзиной, жаровней и отбивной на длин-

---

<sup>23</sup> Здесь имеется в виду «Энциклопедия» Дидро.

ной железной вилке, которую поднимала повыше, чтобы видели все. Голосом, густым, как миска потрохов, она запевала:

Из-за такого – один в один —  
Поссорились Бог и Адам.  
Купите кусочек себе, господин,  
И кусочек для вашей мадам...<sup>24</sup>

и жарила мясо при вас же.

Еще мы придумали нашу собственную игру в Рай и Ад. Я даже нарисовала карту, по которой следовало пройти. Первому игроку, вознесшемуся в Рай, выпадало обнять Деву Марию (выдумка Сада), Торквемаду, Крамера и Шпренгера или Папу по выбору. Как видите, выиграть означало проиграть. В Аду было лучше: вы проигрывали игру, но могли поиметь любого приглянувшегося вам еврея, пантеиста или манихея, эфиопа или альбигойца!

– Будь добра, гражданка, прочти вслух это письмо.

– Хорошо. <Берет письмо.>

*Mabelleolive, maverte.*<sup>25</sup>

*Я так удручен! Мои панталоны износились, мои чулки протерлись, у меня нет ленты связать волосы, и правду сказать, я тоскую по чему-нибудь яркому – по новому шелковому камзолу, зеленому с белым на канареечно-желтой под-*

---

<sup>24</sup> Перевод А.Н. Тарасова.

<sup>25</sup> Прекрасная моя оливка, зеленая моя (фр.).

кладке! Облачиться в такой утроем, прихватить любимую трость и — в свет! Но мне понадобились бы чистые простыни, тонкая сорочка и все прочее, чтобы не выглядеть глупцом, хотя бы в собственных глазах. Сегодня, чтобы изгнать моих собственных демонов, я составил перечень всего, что когда-то носил. Как я пекся о пуговицах! Они должны быть изысканными. Мои любимые были круглые со стеклянной головкой; внутри каждой — блестящий зеленый скарабей, все как один — превосходные экземпляры. К ним у меня был шелковый жилет, где на полочках были вышитыobelisks, а над сердцем — сфинкс. Я называл его «Моя загадка».

Был и другой: в золотую и розовую полоску на нежнейше-зеленой подкладке. Пуговицы на нем были китайские: фигурки обнаженных дам, выточенные из розового нефрита. Эту я называл «Китайский персик». Сегодня любому, кто выйдет в таком из дома, тотчас же снесут голову. А ныне, та verte, у меня запросы пейзажиста. Упала сейчас со своего помела мне в ночной горшок ведьма и предложи мне исполнить три желания, боюсь, я растратил бы их попусту, как нищий, который попросил себе одну сардельку. Сами знаете, что случилось потом.

Жена бедняги, бранливая мегера, закричала: «Ах ты, задница неумытая! Командор Ордена Кретинов! Только последний олух попросил бы сардельку, когда мы могли бы пировать жареным поросенком! Или дажеeessсамого короля, закопченными как окорока! Да я ни разу не ела досыта с

тех пор, как за тебя вышла, а теперь, когда тебе дали шанс, ты захотел только фитюльку, какашку младенца! И это нам на двоих! Козел вонючий!»

Разумеется, дуралей разозлился. Так разозлился, что схватил несчастную сардельку и как закричит: Хочу, чтобы она прилепилась к носу этой стервы!» И тут же вышло по его желанию. Ну, разумеется, жена злится еще пуще (если такое вообще возможно). «Остолоп!» – орет она, а постыдная фаршированная кишка мотается у нее под носом, как собачий хвост, от чего мегера чихает. И с каждым «ап-чихи» она выпускает тройной залп, такой громкий и жаркий, что на солнце возникают пятна, а в атмосфере – вихревые воронки. «Ублюдок епископский, не мозги у тебя, а дерьмо собачье! Я с тебя не слезу, пока ты не станешь срать горюховым супом и окороками,дохлый ты верблюд!» И так далее и тому подобное, пока он не закричал: «Хочу, чтобы эта мегера стала такой, как прежде!» И снова вышло по его желанию. Так они и остались – такие же несчастные, как были.

Ах! И я тоже попусту растратил мои желания! Мою юность, мои страсти, надежды, которые подавал когда-то. Сегодня не осталось почти ничего, только нервическое возбуждение, разожженное непрошеным аппетитом и рисующее картины сатанинской sauerkraut, которая возобновляется по мере того, как ее поедают, и не одна сарделька венчает капустную гору, а сорок четыре:

*Frankfurterwurst*<sup>27</sup>

савойский сервелат

колбаски из свиных мозгов

крейпинет<sup>28</sup>

мартаделла

краковская колбаса

сырокопченая конская колбаса

страсбургские сосиски

чоризо<sup>29</sup>

ливерная колбаса

зельц

камберлендские сосиски

шпикачки

кровяная колбаса

колбаски из гусиной печени с трюфелями а ла мадемуазель

де Сент-Фалье

телячья вареная колбаса

сардельки из телячьей брызжейки

сухая лионская колбаса

парижские сосиски

генуэзская салями...

---

<sup>27</sup> Франкфуртские сосиски (нем.).

<sup>28</sup> Полукопченая франц. колбаса из свинины или оленины, отличается от обычных колбас тем, что фарш не набивается в синюгу, а оборачивается «тестом» из шампиньонов и лука.

<sup>29</sup> испанская сырокопченая колбаса.

*И так далее, и так далее. Но они – только гарнир. Ибо мерцающие, как улыбки, одалисками раскинувшиеся в горе блестящей капусты, вздымаются перед моим мысленным взором, точно груди laDoulceFrance, куски свиной корейки, копченой и свежей, жареной и вареной, и ломти обжаренного бекона толщиной в словарь, и свиные отбивные, настолько большие, что на них можно переплыть Сене, и гусятина, и тефтели с луком, луковицы, от варки потускневшие, точно глаза забитых коров, и наконец (спасибо Науке, заверившей нас, что картофель можно есть без опаски, что он не разжижает кровь, а, наоборот, сгущает ее, укрепляет мышцы и кости, ублажает мозг, развивает умственные способности) дымящаяся гора голландского картофеля, масляно-желтого, сарделькоподобного, сладкого, как мед, и крепкого, как были когда-то (но, *helas*, уже нет) мои ягодицы.*

*Я удовольствовался бы и макаронами. Однажды в детстве мне дали большую макаронину, позолоченную посыпанной ангеликой. Приготовившие ее монашки вложили в нее всю свою нерастраченную нежность, и нетрудно было догадаться, что, растирая в ступках сахар с миндалем, они грезили о любви. Я съел ее жадно и быстро, а потом – ведь она была съедена! – поднял крик. Это было бешенство столь же ужасное, как некогда младенческая ярость, заставившая меня скакать на бедном Людовике так, как, говорят, скачут на проклятых черти: вцепившись зубами взагривок*

и молотят по спине кулаками. Если бы меня не оттащили, я, вероятно, вырвал бы ему глаза! Иногда мне хочется вырвать глаза тем, кто держит меня здесь, и всем остальным заодно! Нашипиговать мои жертвы их собственными глазами!

Верно, я был свирепым, я обращался с людьми, как дикий зверь со своей добычей. Верно, я сам когда-то был оцелотом в голубино-сером камзоле и с надушенным веером в руке. Верно и то, что в моем неистовстве, которое преследовало меня с детства, я мечтал о пресечении всего рода человеческого. Но я никого не убил, не причинил никому вреда большего, чем причинил мне Метла. И все же я томлюсь здесь, а Метла разгуливает на свободе.

Либертен поступает, сообразуясь со своими инстинктами, так как знает, что Бога нет и что им движет его природа. Развратный церковник действует именем Божьим, дабы оправдать, как делал это Ланда, страшнейшие преступления. Преступления, совершенные именем Божьим, всегда худшие из всех, либертен же только воображает их себе, запершись в черной комнате, освещенной китайскими фонариками.

Китайские фонарики! Одни эти слова пробуждают в памяти безмятежные детские годы, когда мир представляется полным самых удивительных вещей, точно волшебная страна лилипутов. Верно, я был балованным ребенком. (Однажды мне поставили целый обеденный прибор из конфет —

чаши, тарелки, ложки и вилки, — лишь бы заманить меня к столу.) Но даже такой мальчик, вопреки загубленным нервам и приступам ярости (но какого ребенка не привели бы в бешенство мать, каждый час бодрствования ползающая на коленях перед священниками, и отец, вечно выслуживающийся перед королем?!), жаждал чуда.

О моем рождении неизвестно ничего, или лучше сказать: все, что о нем известно, неправда. Ведь устрица моей матери была слишком плотно закрыта, чтобы ее осеменить, а батюшка, в точности как Бог-Отец, вечно отсутствовал, и потому я не мог родиться на обычный лад.

Есть несколько противоречащих друг другу историй, объясняющих упрямый факт моего существования:

1. Во время мессы я вывалился из кадила и упал прямо в ложбинку между грудями матери.
2. Я выпал из ее молитвенника ей на колени.
3. Ползая на коленях и собирая рассыпавшиеся четки, она услышала, как я гулькаю под церковной скамьей.

Но истинная история такова: однажды мой падкий на задницы отец, околачивая яйца в борделе, забрал себе в голову, что ему нужен сын, который бы укрепил его род, тешил его взор, согревал ему сердце и раскошеливался на старость. Вот так роковой жребий судил мне, подобно Минерве, родиться от мысли, выпасть из мозга отца ему в ухо, а оттуда — на круп девки. Это чудо отец скрыл без труда, ведь я был не больше перечной горошины. Спрятав сына в

табакерку, он отнес меня матери, которая оставила свои «отче наши» ровно настолько, чтобы прикрыть мою наготу гороховым стручком и положить в колыбель на листе герани. Затем она убаюкала меня папистскими подвываниями, которые, правду сказать, я терпел за неимением выбора. Одно это объясняет, почему я был таким беспокойным ребенком: если других младенцев унимают уместными в детской песенками, которые их смешат и внушают им, будто мир забавное и приятное место, потуги моей матери были столь безотрадны, что я решил: как только научусь говорить, попрошу ее оставить псалмы, иначе она ввергнет меня в пожизненный родимчик.

Но моя мать была схожа с женщиной, на которой я женился и которая, когда я, желая развлечь себя в тюрьме, попросил Боккаччо, Вийона и Рабле, прислала мне вздорный псалтырь, столь же увлекательный, как окологочечный жир, — и все лишь бы помешать мне думать. (Как и священникам? набожным женам не по себе от работы серого вещества, не важно — чужого или их собственного.)

В четыре года я решил, что, если Бог не хочет, чтобы я думал своей головой, придется мне пойти к Дьяволу. Так оно и вышло: всю жизнь меня вынудили провести, изливая сердце с мочой по тюрьмам! Если в этом есть смысл, то миром должны править тупицы, а ведь, как будет утверждать любой глупец, верно как раз обратное. Один из моих злейших врагов говорит: «Сад забивает головы невинных

своими идеями». Хотелось бы надеяться! «А идеи, – продолжает этот шарлатан, – заражны». Хотелось бы надеяться! Но спрашивается: если церковь ненавидит наслаждение с той же силой, с какой она ненавидит мысль, то зачем Господь дал нам мозги и, ради всего святого, зачем Он дал нам гениталии?

Мозги и гениталии... Я почитаю и те, и другие. По моему убеждению, первые неизбежно приводят ко вторым. Они замкнуты друг на друга, как влюбленные бабочки. Мозги и гениталии! Они – наше самое ценное достояние!

А Библия – просто куча навоза. Где «ней логика, я вас спрашиваю?! Слова-то узнаваемы: существительные, прилагательные и глаголы маршируют по странице, точно муравьи – к заплесневелому печеню. Но ведь идеи в ней решительно несообразны, все равно что тайнопись какашками насекомых. Единственное стоящее место – история Евы. Ева – мать Жюльетты. Ева не стенает, не спрашивает: «Мой Боже, для чего Ты Меня оставил», но уходит из Рая и раздвигает ноги. Ева, ясно понимая, что делает, совокупляется и дает жизнь человечеству.

Когда я в детстве прочел про это поучительное происшествие в Рая, про то, как была свергнута тирания, я воскликнул: «Ева была права!» – и запустил книгой через комнату. За это меня высекли, и так мне открылось: работающий мозг – угроза lesfesses.

Мои самые первые воспоминания – не о наемных шутах и

не о том, как я гарцевал верхом на бедняге, нанятом возить меня на себе, а об увешанной стеклярусом мадам де Руссильон, полушепотом рассказывающей сказки: в одной Гаргантюа поглощал салат из пилигримов, а в другой Гулливер танцевал джигу перед королевой ростом с пирамиду Хеопса. Позже, когда я едва не порвал в клочья дофина (онотказывался играть в лошадки, разве что лошадкой буду я сам), меня отослали в замок дядюшки, откуда я часто сбегал, ища общества деревенских детей, пусть неотесанных, но всегда веселых. Вместе с ним я поддавался волшебным чарам, когда в каморке за мастерской сапожника, где горела только одна свеча, вдруг начинали шевелиться на стене крошечные фигурки-тени: Гигноль и разбойники с большой дороги, ведьма, летящая на шабаш, ворона Лафонтена и падающий у нее из клюва, круглый, как кулак, сыр, Иона в чреве кита. Мальчик-с-пальчик! Кот в сапогах!

Или когда Безумная Бланиш пускала нас к себе в темную кухню, где кормила яблоками и омлетами и рассказывала свои «Правдивые истории о младенце Иисусе», в которых Сын Божий делил материнское чрево с королями, кометами и верблюдами и, будучи еще младенцем, просрал всю дорогу до Рима и пукнул в лицо Папе.

А вот как Безумная Бланиш готовила омлет:

Когда соте на огне стало грозно шипеть, Она туда бухнула масла. Не дав подгореть, Сбила яйца до пены (Глотнула вина)

*Добавила лук и щавель, чуть-чуть тимьяна (Глотнула вина)*

*Бухнула яйца в кастрюлю  
(Глотнула вина)*

*Они затряслись в кастрюле,  
Как с бодуна  
(Глотнула вина)*

*Она завопила: «Ешьте быстрее – или хана!»<sup>31</sup>*

*Она отхлебывает винца и посыпает яйца солью (откуда у бедняков перец?). И пусть мы ели руками, мы пировали, как испанские короли.*

*Римляне добавляли в омлеты мед. Хотя за острый и пряный омлет с омаром или ветчиной – или и с тем и с другим разом! И с тем и с другим разом! – я сию минуту продал бы душу (будь у меня душа), не думайте, что я пренебрегу римским блюдом, омлетом с вареньем моей юности, нежным, как мысли ангелов, щедро присыпанным сахарной пудрой и сочащимся клубничным сиропом.*

*Можно подумать – и это было бы только логично, – что в тюрьме подают яйца: недорогая, здоровая пища и, – если мозги у вас в черепе, а не в пупке, – легкая в приготовлении, хотя, вероятно, это все-таки не по силам тюремным поварам, которые и во спасение жизни не смогли бы сварить лапшу. Будь моя воля, я позаботился бы, чтобы при каждой тюрьме был курятник и, если вдуматься, садок с форелями,*

---

<sup>31</sup> Перевод А.Н. Тарасова.

*огород, фруктовый сад, дойная корова. Или – еще лучше! – я дал бы каждому узнику собственную несушку.*

*Она составляла бы ему общество, очищала бы камеру от паразитов и несла бы драгоценные яйца, которые, как известно любому деревенщине, вкуснее всего в течение часа после того, как были снесены, – особенно если варить их всмятку.*

*Когда монотонность заточения становилась бы невыносимой, узник мог бы выдувать свои яйца – на манер русских – и расписывать скорлупу. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится эта мысль. А поистине примерного узника, даже если он упорствует в тех идеях, за которые попал сюда, можно поощрить, подарив курочку фазана. Если ему дадут плодовое деревце в горшке, птица могла бы сидеть на ветке. Ее помет, падая, как предписывает земное притяжение, удобрял бы деревце, которое давало бы великолепнейшие плоды. Но чтобы все это стало возможным, нужно соблюсти одно условие: большое окно на юг, что пропускало бы солнечные лучи, а те ободрили бы живые существа в камере: деревце, птицу и человека.*

*Прежде чем завершить это письмо, которое почти целый день дарило мне удовольствие от вашего общества, позвольте еще одно воспоминание – о скромном пире, который вы с Лафентиной устроили в «Красном лебеде». Лакомства: заливные, лангусты, тресковые языки и barquettes, а еще множество пирожков, и все – в виде веера. Вы тогда были*

совсем дитя, я – намного вас старше, но еще молодой и не подозревавший о смертности и болезни.

Я был без гроша. На удовольствия, которых не перечесть, я промотал приданое жены, и прекрасная женщина продала свои драгоценности, чтобы спасти мою шкуру. Я полагал себя неуязвимым и не знал сожалений. Сегодня, почти тридцать лет спустя, я стар, я обрюзг, я – конченный человек. Вы же... Вы – в расцвете сил, стройная, как когда-то, хотя нельзя не заметить, как округлилась ваша грудь, как весел ваш взор – будто он может быть веселее, чем был в те дни. Как легко вы носите свои годы, топ атіе, да, как легко! Думаю, это всё потому, что никто и никогда над вами не правил, ни человек, ни Бог. Будь вы либертенкой, каким великолепным образчиком вы бы стали!

Вы справлялись о моем зрении. Мне продолжают досаждают приступы слепоты, и все потому, что со мной делит камеру неумная ярость. Ярость и мучительное утомление. Даже во сне мне нет отдыха: я продолжаю слышать стук, с которым падает в корзину отделенная от тела голова. Мои кошмары ужасны. Я вижу, как на срезе кровоточащей шеи раскрывается глаз, и это зрелище так на меня действует, что я обращаюсь в камень, в сжатый кулак из черного мрамора, вечно и гневно грозящий миру. Наверное, мне следует заменить фигуру на семейном гербе на тапо афіса: бестыдную руку, сложившую фигу. «Te faccioni fica!» – «Да минует тебя сглаз!»

*Казни продолжаютя, и невозможно оставаться в стороне. Стоя у окна, я подобен Андреалфусу; я – как оцелот в клетке; я – сплошь глаза. Я думал, что сочиняю небылицы. Оказывается, я записываю факты.*

– Ты, зачастую втайне, снабжала Сада книгами, заметками, написанными твоей рукой, набросками извращенного свойства, включая описания преступных деяний, списками слов на языке, неизвестном Comite, – возможно, то были зашифрованные послания. Все это вошло в его рукопись сомнительного характера. Пришло время раскрыть суть вашего заговора.

– Заговора? Мы просто пишем книгу, гражданин.

– Тебя, попросили раскрыть ее суть.

– Наша книга начинается с картографа, францисканца по имени Мелькор, сопровождавшего Ланду на Юкатан. Так сильна вера этого человека и так велико его тщеславие, что он берет из головы все, чего не знает: выдумывает земли, пока не открытые или упрятанные за густыми лесами, или недоступные, потому что непокорные индейцы майя еще воюют с испанцами, убивая их скот, их кошек и собак и вырывая из земли их странные деревья.

Картограф не смеет покидать свою келью, но невелика важность: он верит, что им руководит божественное вдохновение. Мелькор – безумец, вообразивший, будто там, где он рисует озеро, озеро должно быть. Или река. Или горная гряда. А если их там нет, то, как только он их обозначит, они появятся, вызванные прямоком из Божьего помысла. Мель-

кор – христианин, а не каббалист, но чем больше он изучает ереси, тем больше его обуревают эта еврейская идея: дескать, сущее появляется, когда Бог о нем думает. В своем безумии францисканец верит: что бы он ни подумал, Бог замышляет. Или, быть может, не столь тщеславно: что бы ни замыслил Бог, воображает затем Мелькор. Тем самым невидимая связь между божественным замыслом и пером Мелькора предвосхищает реальность. Мелькор – Божий сосуд и Божье стило.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.